

Несгорающий костер

Ник. АСЕЕВ

Огромная бескрайняя равнина. Глухая тьма, впитывающая в себя без ответа малейшую огнишку, мелькнувшую где бы то ни было, как пустыня впитывает капелю трудно накопленной росы.

И на этом черно-бархатном фоне — фигура, легкая и гордая с северным холодным лицом, с правильной формы головой, покоящейся на колонной шее, как бы срезанной белым блюдом широченного отложного воротника, с расширенными, точно от ужасного видения, глазами.

Это тот, чьи стихами вооруженное, входило в жизнь наше поколение десятков годов.

Чем привлекал он нас, чем завораживал, что заставлял любить, к чему относиться с презрением?

Чему учил, что ставил в пример, что прививал молодому сознанию?

Блока еще тогда критика пыталась охарактеризовать как мистика-символиста, клеила на него ярлычки с дешевыми оценками, пропорциональными ее собственному умственному кругозору. Но молодость уже умела остро отличать фразу от подлинной оценки, фальшь от неподкупной правды. Она, эта молодежь, сразу полюбила Блока совсем не за то, что в нем отличала критика. Поколение, только что пережившее 1905 год, не очень-то считалось со всяческой догматикой и номенклатурой. Поколение просто услышало давно неслышанный чистый человеческий голос, полный бурных страстей, великой любви, огненного гнева ко всему мертвому, внешнему, условному, пустому.

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!

Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти, —
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!

Это писалось в 1908 году — одним из годов уныния и разочарования той части русской интеллигенции, которая считала себя делающей погоду в России. И утверждение жизни Блоком тогда звучало вовсе не в тон всем таким законодателям вкусов. Две последние строчки о тяжести плуга говорили не благонамеренно правоучительно, а как-то трезвато бодро о жизни. Именно потому, быть может, что этими строчками подпитывалось не логическое рассуждение о пользе труда, а наоборот, они были чувственным выводом из всего перечисления разнообразных на-

слаждений жизнью, венцом которых все же утверждался и на небывалую высоту поднимался труд.

Вот чему учил нас Блок. Всей полноте жизни, всему ее многообразию, всему буйству ее сил, чтобы в результате этого многообразия научиться самому главному: достойной походке за тяжелым плугом мастерства. И мы всей душой отзывались на этот правдивый голос, на это веселое учение. Мы усваивали от него не хождение в тихие храмы, а любовь к заре, к рассвету, к росным травам, к свежести и ясности первоначального ощущения жизни. Мы шли за ним, рано вставши поутру, потому что он хорошо умел нас будить:

Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидеть,
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.

Прелесть жизни, прелесть ее ранней утренности — вот чем нам был дорог Блок. И эта прелесть всегда соединена у него с ощущением земли, страны, народа, соединена какой-то родственностью, не узкой и не сословной, а большой связью внутренней похожести. Как он это делал?

Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.

Скажут, что это ощущение утра, свежести, радости — не столь характерны для Блока, как те, которые говорят о растерянности, о надрыпе и о бессильи. Да, в этом есть трагическая раздвоенность поэзии Блока. О ней упоминал Маяковский в статье, написанной по поводу смерти Блока. Однако, я думаю, и Маяковский не отрицал бы того, что эта раздвоенность блоковского гения, расщепленность его души обозначилась гораздо позже. Я же здесь говорю об ощущениях своей молодости. И опять-таки всячески следует подчеркнуть, что чего-то, а унылого пессимизма у Блока никогда не было. Даже в его мрачнейших стихах, какими, например, являются стихи 1912 года, вроде «Плясок смерти», вовсе нет ни уныния, ни смертельной тоски, приближающихся хотя бы к солугубовским или гиппиусовским настроениям. Тем более нет в них нарочитого мистицизма, излюбленного, например, Леонидом Андреевым. Даже такие его стихи в гораздо большей степени являются острой и горькой сатирой на окружающее его об-

щество опустошенных и бездушных людей. И если зачастую в таких стихах речь ведется как бы от лица автора, то это лишь вечная иллюзия искусства, где перенесение ощущения на автора является результатом точности описания.

А на самом деле ведь это же продолжение и гоголевских «Петербургских повестей» и пушкинского «Гробовщика» — продолжение традиций, вызванных к жизни призрачностью очертаний города в тумане. И этот туман не только тот, что поднимается с Невы, но и тот, что курится над дворцами и присутствиями, над Сенатом и Адмиралтейством, над Миллионной и Дворцовой набережной, где охлажденные души бродили по охлажденным камням. Вот этих людей-мертвецов, с выдохшей страстью, с вялой волей и почти остановившимися каменными сердцами, живописал Блок.

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет,
... в сенат...

Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день трудится над докладом.

Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, вилия задом,
Сенатору скабрзный анекдот...
Уж вечер. Малый дождь зашлепал грязью

Прохожих, и дома, и прочий вздор...
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.

Вот за такие стихи Блока именovali мистиком. А мы — тогдашняя молодежь — вопреки ярлыкам, считали его настоящим реалистом, умевшим воссоздавать страшные образы тогдашней страшной действительности во всей ее голой сути; умевшим реализовать метафору народного поверья о мертвецах, встающих из гроба, метафору, совпадающую с образом действительности. Как чувствовалась эта обличительная сила, не боящаяся мертвечи всего тогдашнего строя, как понимали и угадывали мы Блока. И думаю — не ошибались. Ненависти к пустой фразеологии, к шедухе внешней значительности учились мы у него и не хотели отдавать Блока мистикам и богоискателям. Как мы уже тогда слышали, он и сам уходил от мертвецов, хватавших его за полты. Ведь именно на этой почве поссорился он с символистами, требовавшими от него верности мистическим настроениям его первых неоформившихся строк. «Стихи о Прекрасной Даме», написанные под влиянием религиозных отзвуков детства, воспитанных религиозно-философскими взглядами Владимира Соловьева,

уже были оставлены им. Прекрасная Дамма, смутный и неясный облик католической мадонны, смешанный с пушкинским «Бедным рыцарем», превращался, при ближайшем соприкосновении о жизнью, в резкие черты «Незнакомки». И именно этот образ создал славу молодому Блоку. Это — образ молодой женщины, обреченной на поругание пошлякам. Это — образ жизни, ее светлости и молодости, захваченных руками «испытанных остряков и пьяниц с глазами кроликов»; он принимает теперь у Блока не молитвенно заоблачный, а трагический, мучительный облик. Теперь это не только любовные страсти. Это большая, чем обычно, боль, это страшнейшая, чем привычно, страсть, — боль и страсть за жизнь, за плеванную и изнасилованную там, где:

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бесмысленно кривится диск.

Протест вот против этой «приученности ко всему», против слежалости наших человеческих привычек, отношений, зависимостей, против быта, установившегося при том государственным строе, который в конечном счете был так ненавидим Блоком, — действовал на нас сильнее, чем мог учесть это сам государственный строй.

Все б тебе желать веселья,
Сердце, золото мое!
От похмелья до похмелья,
От приволья вновь к приволью —
Беспечальное житье!

Но низка земная келья,
Бледно золото твое!
В час разгульного веселья
Вдруг намахнет страстной болью,
Черным крыльем воронье!

Воронье, летящее на мертвечину, вот что закрывает первоначальное светлое ощущение жизни у Блока. Мотив воронья, закрывающего «май жестокий с белыми ночами», вырастает у Блока вместе с страстным интересом его к жизни. И женщина превращается в родную, в поруганную родину, в Россию. На нее летит воронье, ее хочет зацеловать и отстоять Блок. То, что бессмертен лишь народ, — это он начинает запевать в своих «Стихах о России».

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам
маяться?

Это обращение к своей стране, к своей земле, как к единственной любимой, становится особенно острым и реальным у Блока к 1914 году. И такие стихи, как «Петроградское небо мутилось дождем», «Жоржун», «Рожденные в года глухие»,

навсегда останутся в памяти народа как свидетельство полной родственности ему Александра Блока.

И совсем по-новому начинает ощущать он свою страну. Его глаза расширены уже не страхом, а нежностью и верой в будущее этой страны.

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер, и — вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Этот по-новому увиденный Блоком облик страны становится ему отныне путеводной звездой. Поэма «Возмездие» по замыслу должна была отразить превращение страны дикой, отсталой в страну будущего. Но для этого у Блока еще не было реальной опоры. Поэма осталась незаконченной.

Зато с какой силой воображения были написаны «Скифы», вещь, до сей поры оставшаяся без соответствующей оценки. «Двенадцать», написанные в то же время, заслонили «Скифов», расцениваясь более высоко. «Скифы» были восприняты как какое-то возвращение к славянофильству. Между тем, опять здесь было дело не в ярлычке. Блок чувствовал огромную мощь России, ее великую роль в балансе мировых дел. Эта роль тогда, в 1918 году, не всеми ощущалась в полном объеме. И вот всей силой своего поэтического чувства Александр Блок дает такой прогноз событиям, который казался бы совершенно противоречит тогдашнему положению вещей. Он берет тему в то время совершенно неблагоприятную, тему о значении России в судьбах мира. Казалось бы — что толку было начинать тогда разговор об этом. Но посмотрите в эти строки, написанные с таким гневом и силой убеждения в 1918 году, как если бы ему были известны события 1940 года. Силой любви к своей стране, силой оценки ее внутренней мощи за двадцать с лишним лет бросает он вперед свои строки:

Вот срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объять!
Пока не поздно — старый меч

...самы мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

То:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Стоило перевести эти стихи на все возможные языки мира, чтобы предупредить людей, чтобы дать им понять, как прекрасен, разумен и человечен был звук этой «варварской лиры», обращенный к «культурному человечеству». Этот звук, пытавшийся предохранить «больное позднее» потомство от «ужасов войны», переживаемых теперь миром.

Блок учил нас задолго предусматривать события. Блок учил нас ясности временных горизонтов. Не мистическим туманом обволакивал он наше сознание. Конечно, и на его прекрасных чертах лежала когтистая метина лапы старого мира, и в его творчество вливались яды усталости и растерянности. Но главное-то все-таки им было завоевано, главное в том, что народ действительно бессмертен, и бессмертен поэт, оставшийся в одном лагере с ним, какие бы бытовые привычки ни отягощали его творчество. И если Маяковский писал, что у Блока не было дальше дороги, то это высказывание необходимо дополнить тем соображением, что Блок не повернул назад. И сам Маяковский, по-новому перестроив русский стих, все же воспринял от Блока многое, без чего не закончены были бы стройность и сложность собственного поэтического облика Маяковского.

И только —
боль моя острей:
Стою,
огнем облит
На несгорающем костре
Немыслимой любви.

Вот этот несгорающий костер был зажжен Александром Александровичем Блоком, открывшим нам путь к жизни, вооружившим нас прочным оружием гнева и ненависти к прошлому, точным оружием любви и страсти к живому, вечно молодому человечеству.